

УДК 82-94
ББК 63.3(2)524
А84

Предисловие

Публикуется по изданию:
Аронсон Г. На заре красного террора.
Берлин, 1929.

Аронсон, Григорий Яковлевич

А84 На заре красного террора. ВЧК — Бутырки — Орловский централ / Предисл. Д. Д. Зелова. — М.: Кучково поле, 2017. — 256 с. — (Библиотека русской революции)

ISBN 978-5-9950-0810-1

Мемуары Григория Яковлевича Аронсона (1887–1968) повествуют о формировании репрессивной машины советской власти с ВЧК во главе.

Сумевший пройти горнила многих советских тюрем и при этом не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство, Григорий Аронсон оставил потомкам интересные сведения о тюремном быте и жизни первых лет большевистской власти, беспощадно расправлявшейся со всеми теми, кто смел «свое суждение иметь».

УДК 82-94
ББК 63.3(2)524

ISBN 978-5-9950-0810-1

© ООО «Кучково поле», 2017

Имя Григория Яковлевича Аронсона (1887–1968), видного меньшевистского публициста и общественного деятеля, практически не известно современному читателю. И не мудрено: вынужденный вскоре после победы большевиков эмигрировать из Советской России, он обосновался в Европе, а с началом Второй мировой войны перебрался в США, где и провел остаток дней.

Сын гомельского бухгалтера, Гриша Аронсон родился в столице Российской империи в царствование предпоследнего российского императора Александра III, в самый разгар его контрреформ. Получив традиционные для еврейского юноши того времени воспитание и образование, Аронсон рано активно включился в революционную борьбу против самодержавия, примкнув сначала к социал-демократам, а затем к еврейской социалистической партии Бунд. Будучи сам человеком весьма образованным, молодой Григорий Аронсон внес значительный вклад в дело образования и просвещения евреев, проживавших на территории России.

После разделения в начале XX столетия Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) на большевиков и меньшевиков, Аронсон постепенно встал на позиции последних, в политическом отношении представляя собой причудливую смесь меньшевика и бундовца. В таком качестве и застала его сначала Февральская революция, а затем и события октября 1917 года.

Не приняв большевистского переворота, Аронсон продолжил активную меньшевистскую деятельность. Этого ему находившиеся у власти бывшие товарищи по партии простить не смогли. Последствия не заставили себя долго ждать: начиная с 1918 года в жизни Аронсона один арест следовал за другим. Правда, находился в заключении он всякий раз недолго — от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако дело было не в особой милости советских карательных органов по отношению лично к Григорию Яковлевичу.

Накануне первого ареста Аронсон имел в своем активе многолетнее революционное прошлое, пламенную борьбу с наследием «проклятого» самодержавия во имя тех самых рабочих с крестьянами, правительство которых его арестовало, поэтому просто поставить его к стенке без суда и следствия было нельзя. К тому же за Григория Яковлевича всякий раз заступались его коллеги и друзья по рабочему движению, будь то представители Всероссийского Совета профсоюзов торгово-промышленных служащих или иной подобной структуры. На заре советской эпохи такие обращения к облеченным властью представителям победившего пролетариата (при всей нетерпимости большевиков к любому иному мнению), как ни странно, срабатывали и были весьма действенны.

В самом начале 1922 года Аронсон воспользовался благоприятным для себя моментом: за время его последнего почти годового тюремного заключения по очередному надуманному обвинению, власть несколько отпустила вожжи и ввела в действие пресловутый НЭП. Григорий Яковлевич не стал дальше искушать судьбу и согласился на предложение чекистов о высылке за границу. Не без труда выехав сначала в Прибалтику, в тот же год Аронсон из Риги перебрался в столицу веймарской Германии. Оказавшись на чужбине, он взялся за мемуары отчасти, чтобы выплеснуть на страницы

ужас пережитого, когда он оказывался на волосок от смерти, отчасти, чтобы сохранить для потомков события тех бурных лет, непосредственным участником и свидетелем которых он был.

Первым плодом его обширной публицистической деятельности стали изданные в Берлине спустя семь лет после эмиграции из советского государства воспоминания о пребывании в застенках ЧК — «На заре красного террора», предлагаемые читателю.

В них автор ярко и эмоционально вскрывает всю подноготную установившейся советской власти: беспощадно-жестокую к любому инакомыслию репрессивную машину, безжалостно перемальвающую людские судьбы во имя идеи светлого будущего.

Дмитрий Зелов, кандидат исторических наук

1. В ТЮРЬМАХ МОСКВЫ

I

Два дня в ВЧК

Февраль 1921 года — предвестник грядущего перелома. В воздухе повеяло новым. Заговорили о сдвиге в настроении рабочих районов Москвы. Зашевелились заскорузлые красноармейцы и курсанты. Беспартийные конференции рабочих и красноармейцев устраивают неприятные сюрпризы властям предрежающим. Конференция металлистов объявила оппозицию и в свою делегацию выбрала даже одного меньшевика... Огромная волна крестьянских восстаний в Тамбовской и Воронежской губерниях подавляется с неслыханной жестокостью артиллерией и броневыми поездами. В это время, а именно 20 февраля, мы были арестованы на заседании Центрального комитета Бунда, в самый разгар обсуждения вопроса об отношении к стихийным народным движениям.

Был первый час пополудни, когда в социал-демократический клуб «Вперед» ввалился отряд чекистов и красноармейцев. На лестнице, у выхода, у дверей были расставлены часовые. Наш стол был окружен солдатами с винтовками, и какой-то чекист скомандовал:

— Бумажек не рвать! Все вынуть из карманов и выложить на стол! С места не сходить!..

Кто-то потребовал ордера на арест Центрального комитета, но ордера не оказалось. Тогда пошли звонить по телефону в ВЧК. Наши законники получили удовлетворение: из ВЧК распорядились, чтобы были забраны все, кого найдут в клубе. А в другой комнате по соседству были взяты «на месте преступления» члены социал-демократической молодежи, печатавшие на гектографе свой юношеский журнал. Среди них были подростки, которым не минуло еще 18-ти лет и которых, по советским законам, нельзя сажать в тюрьму. Но в ВЧК их, конечно, поместить можно. И вот, после краткой процедуры поверхностного обыска в помещении, после осмотра наших документов и наших бумаг (все лишние бумаги были нами, несмотря на контроль, разорваны в клочья), нас, с дюжину цекистов, и группу молодежи нагрузили на грузовик и отвезли в ВЧК. В клубе была, конечно, устроена засада, и к нам скоро присоединили двух наивных провинциалов из Брянска и из Ростова, чуть ли не прямо с поезда нанесших первый визит партийному клубу.

В комендантской ВЧК было тихо и спокойно. Вещей с нами не было; личный обыск с выворачиванием карманов был обстоятельным. Мы заполнили анкеты, и нас поместили по соседству в камеру, смежную с комендантской, во всю длину уставленную скамьями. Сразу здесь показалось нам несколько неприятно и подозрительно по части насекомых; мы прохаживались взад и вперед, не снимая шуб и пальто. Но мы были усталы и издерганы. Время шло томительно медленно. Постепенно начали свыкаться с тюремной обстановкой. Кто-то постучал в дверь нашему стражу:

— Нельзя ли кипяточку?

Кто-то, более принципиальный, потребовал, чтобы нас немедленно вызвали в президиум ВЧК.

Кроме нас в этом временном помещении было еще два узника. На одной лавке сидел молчаливый седень-

кий старичок, похожий на торговца разносных товаров из ярославцев, какие водились до революции. В углу сидел в отрепьях, напоминающих остатки солдатской одежды, молодой солдат с позеленевшим от худобы лицом. Он оказался немцем, арестованным по подозрению в шпионаже. Он почти не говорил по-русски. Пришлось перейти на немецкий, чтобы понять его жалобы на то, что он сидит здесь свыше недели в грязи, голоде, не зная, в чем его обвиняют. Он заявил себя членом Независимой социал-демократической партии Германии, сочувствующим коммунистам.

Мы сидели на лавках и пили чай, когда нас стали группами выводить в комендантскую. Там было уже все решено. Президиум ВЧК не долго колебался и решил дать нам пристанище у себя. Нас разводили по одиночке. Я шел впереди, за мной солдат, у которого в кармане лежал револьвер. Так шли мы минут десять, то вверх, то вниз, минуя дворы, шли по темному коридору, упирравшемуся в светлый коридор, по обе стороны которого находились комнаты с нумерацией и надписями, шли длинными винтовыми лестницами вверх и вниз — бесчисленными этажами ВЧК.

Вопросы мои были излишни. Солдат был нем, как стена. Наконец мы остановились, постучали в дверь, и я, по-видимому, в тюрьме Особого отдела ВЧК. Небольшого роста, в черном пальто и фуражке, молодой тюремщик опять подверг меня тщательному обыску, прежде чем водворить меня на место. Я с оживлением воскликнул, что меня тут раз уже обыскивали. Тюремщик сурово и решительно пригласил меня молчать и тихо следовать за ним по коридору. Всего несколько шагов по узкому и темному коридору, и я в камере № 4.

Шагов шесть в длину, три в ширину. Высокое окно, выходящее во двор, плотно замазано известкой. В открытую форточку вливается со двора звук круглой пилы, назойливый и монотонный. Полумрак скоро рассеива-

ется. Горит электричество. Большие миски с пшенной кашей выданы на ужин. Из-под подушек вынимаются две огромных бутылки неостывшего чая, оставшегося с обеда. Я сижу у стола на козлах койки, мои сожители сидят на своих койках и с возбуждением осыпают меня вопросами. Я сегодня взят в Москве, а они здесь сидят неделю, четыре недели, шесть недель, оторванные от мира, от газет, изголодавшиеся по человеку и вестям оттуда. Их интересовало все: экономика и политика, международная и русская. Было около 11 часов, когда я кончил свой обширный доклад. Дважды подходил к двери тюремщик и грозно приказывал: тише! У меня не было вещей, и, признаться, меня пугал вид мешка, набитого соломой. Сосед предложил мне свое второе одеяло, и я, не раздеваясь, уснул безмятежным и легким сном.

В камере помимо меня было еще четыре человека. Красивый тридцатилетний австриец; в качестве военнопленного прожил семь лет в Туркестане, занимался там кролиководством, заведовал канализацией и женился на дочери местного старожила, врача, — русской. Месяца три тому назад он получил возможность вернуться на родину, ликвидировал свои дела и, продав имущество, вырученные деньги перевел через банк в Москву и сам с женой приехал для выполнения последних формальностей. Но в Москве чекисты проследили, как он получил 200 тысяч рублей в банке, и явились арестовать его в поезд, с которым он и жена с заграничными паспортами на руках должны были уехать. Не предъявив никакого обвинения, чекисты его арестовали, деньги конфисковали и жену его без всяких средств к жизни и без знакомых в Москве отпустили на все четыре стороны. В полном недоумении он сидит уже больше месяца и надеется попасть в Бутырки.

Полон смысла и определенности арест его визави. Угловатый, изможденный, с ухватками мастерового, напевающий частушки и сочиняющий куплеты, он

поразил всю камеру своим самоуверенным видом, при появлении рекомендуясь: я — анархист Иванов. Он любовно ощупал свой тюфяк, с удовольствием оглянулся по сторонам и начал устраиваться. Но что такое? Все смотрят на него и поражаются. Иванов снимает с себя верхнюю рубашку, затем нижнюю, и еще одну нижнюю, и снова верхнюю, и снова нижнюю. И то же самое он продельывает, сняв штаны, образуя вокруг себя небольшую горку имущества. На смех и удивленные вопросы Иванов рассказывает, что, скрываясь от Чеки, он решил бежать из Харькова в Москву. Пришлось ехать на тормозе. Чтобы было удобнее и чтобы руки были свободны, он погрузил на себя все свое белье. Но в Москве не успел он дойти до явки, как сзади схватили его за руки два чекиста, а третий направил в лицо револьвер — и пришлось ему сдаться. Особенно Иванов возмущался тем, что к нему подошли сзади, и он осыпал ВЧК в стихах и прозе самыми жестокими обвинениями в предательстве. Но с раннего утра до позднего вечера был весел, не тяготился тюрьмой и все мечтал об одном: как бы сообщить на «явку» о своем аресте.

Против меня лежал на койке хорошо упитанный, с розовым лицом молодой человек, который очень мало рассказывал о своем деле. Он служил в рабоче-крестьянской инспекции и был контролером по Московскому потребительному обществу. Казалось, и РКИ, и МПО — такие значные места, которые могут повести за собой и ВЧК. Но молодой человек говорил, что его дело связано с готовящимся процессом какой-то иностранной миссии. Действительно, и в газетах уже были сведения о том, что ВЧК было поручено установить, что под видом иностранных миссий в Советской России действуют спекулянты и контрабандисты, скупающие разные ценные вещи для вывоза из России. Как водится, по этим делам арестованные насчитывались сотнями, и среди них было немало иностранцев.

Четвертый сожитель нашей камеры и был привлечен именно по такому делу. Один из главных инженеров на металлургических заводах в Коломне, он во все годы революции работал по своей специальности, занимая изредка даже ответственные посты. И вдруг случилось недоразумение. Прибыли с обыском, арестовали и привезли в ЧК.

— Знаете ли вы гражданина NN из эстонской миссии? — спрашивает следователь.

— Нет, — удивленно отвечает инженер.

— А продали ли вы свой чемодан из желтой кожи за восемьдесят тысяч рублей?

— Да, продал.

— Так как же вы отрицаете знакомство?

И только сидя в камере Особого отдела, инженер начал соображать, в чем дело. А следователь ВЧК подтвердил ему, что он привлекается по делу об эстонской миссии.

На самом видном месте, на стене красовались «правила для арестованных, содержащихся во внутренней тюрьме ВЧК». Это были знаменитые правила, введенные чекистом Ягодой, бывшим тогда правой рукой Дзержинского.

И суть в том, что эти правила не только красовались на стене, но выполнялись буквально, с неумолимой жестокостью. Малейшее повышение голоса в камере уже вызывало окрик тюремщика. В уборную по коридору проходили на цыпочках, бесшумно, не смея разговаривать друг с другом. Прогулок совершенно не было, и людям приходилось не выходить на свежий воздух целыми месяцами. Любопытно, что впоследствии, когда временно затрещал режим Особого отдела, права прогулок добились путем голодовки. Но прогулки не предусмотрены при устройстве тюрьмы, и заключенных пришлось водить на прогулки в два-три часа ночи. Книг, даже Евангелия, не пропускали, не говоря уже о газетах.

В коридоре висело объявление о какой-то библиотеке имени Дзержинского; должно быть, пользоваться ею могли только чекисты. Но в нашей камере каким-то чудом очутилась замечательная книга на немецком языке, из которой мы почерпали знания об именах принцев и принцесс покойного дома Гогенцоллернов. И восприятие игр было обойдено нами, так как в камере оказались нелегальные шашки, сделанные из хлебного мякиша. Надо сказать, что кормили неплохо: фунт хлеба, пшенная каша, чай и немного сахара. Какой-то юноша в военной форме с наганом на бедре, с типичным лицом чекиста, рекомендовался начальником тюрьмы и ежедневно обходил камеры. Чтобы получить газеты и книги, я написал заявление. На завтра я потребовал вызова на допрос, и, как это ни странно, через несколько часов меня вызвали. Это был благоприятный симптом. Инженера тоже вызвали к следователю, который обещал в тот же день выписать ордер на его освобождение.

Опять меня повели этажами, этажами, бесконечными коридорами и витыми лестницами и ввели в комнату № 77 с надписью «Секретно-оперативный отдел», где я предстал пред светлые очи следователя Журавченко. Он скоро за неблагоприятные поступки сам попал в Бутырскую тюрьму, а пока с хитрецей рабочего простачка попытался завести со мною политический диспут. Я уклонился от беседы с ним и понял, что власти придерживающиеся почли за благо нас освободить. В их планы, по-видимому, не входил арест Центрального комитета Бунда, но молодежь они решили задержать.

И вот, спустя двое суток после ареста, в три часа я попрощался со своими сожителями, завещал анархисту присланное для меня в тюрьму продовольствие, обещал инженеру позвонить о предстоящем его освобождении и вышел на волю.

В воздухе уже пахло недалекой весной. А в Москве, особенно в рабочих районах, разгоралось движение.

Рабочие Рязано-Уральской железной дороги обсуждали текущий момент в институте имени Карла Маркса. И на Высших женских курсах шли оживленные рабочие собрания. Луначарский и Калинин с трудом добивались слова. Весь вечер с двумя товарищами я пробродил в Замоскворечье, отыскивая связи и прислушиваясь к робким признакам нарастающих событий.

II МЧК

Как видно, события напугали большевиков. В связи с забастовками рабочих Московский совет решил объявить Москву на военном положении. Я видел набранный в типографии текст приказа об этом, за подписью Каменева. Но власти раздумали, и набор приказа был рассыпан. Быть может, события улеглись, но одно время они приняли грандиозные размеры. Забастовка, возникшая у Гознака на почве недоданных пайков, перекинулась к Прохорову. Вообще в это время в Москве периодически бастовало до 200 предприятий. Бастующий Гознак вышел на улицу, снимая другие предприятия, и в Хамовниках образовалась рабочая манифестация. К вечеру огромная толпа подошла к казарме, требуя, чтобы ее пропустили к красноармейцам. Произошло столкновение. Патруль стрелял в невооруженный народ. Был убит ребенок и тяжело ранена женщина. Заговорили о волнениях в частях. Тогда военные части встрепенулись. Из Кремля был отдан приказ: из казарм красноармейцев не выпускать. Солдатам стали выдавать новую

амуницию. МПО получило распоряжение немедленно выдать на каждого солдата по четыре фунта мяса.

Небольшая зала социал-демократического клуба «Вперед» (Мясницкая, 37) была переполнена народом. Царило редкое оживление. Дыхание улицы ворвалось и сюда. Рабочий из Гознака рассказывал о событиях в Хамовниках. Кто-то передавал о том, что происходило на импровизированных митингах в Замоскворечье и на Высших женских курсах. Настроение было повышенное, даже тревожное. В сущности, все знали, что это собрание будет арестовано. Недавний арест бундовского ЦК служил предупреждением. Да и можно ли было рассчитывать, что коммунисты потерпят легальное существование социал-демократии в такой бурный момент? Все знали цену этой легальности в советском строе и исключительно по моральным побуждениям пришли заарестоваться. Один опоздавший на собрание увидел у дверей вереницу автомобилей. Он понял, что это набег Чеки, но все же зашел в клуб...

Вдруг мы услышали из коридора шум, гул, лязг, крик. На длинную деревянную скамью вскочил, размахивая револьвером, молодой чекист с наглым лицом, в фуражке набекрень:

— Все арестованы. С мест не сходить. Бумаг не рвать.

Председательствовал С. Шварц, который спокойно потребовал ордера, — он был предъявлен, и Шварц получил удовлетворение. В зале было настроение повышенное, нервное. Кто-то запел демонстративно «Интернационал» и потребовал, чтобы чекист снял фуражку. Тот нехотя это сделал.

Потом все пошло своим чередом. В соседней комнате приступил к делу специальный отряд чекистов; на лестнице у парадного и черного входов повсюду были расставлены красноармейцы. Нас группами обыскивали, забирали документы и бумаги и отправляли в Чеку. В общем царило легкое насмешливое настроение. Не-

Легко понять, как было принято решение в нашей среде. Левые эсеры и анархисты голодали дальше: первые — прекратив голодовку на восьмой день, а вторые — на 11-й день. Последствия, конечно, сказались сейчас же. Свыше 15 цинготных, около 30 острожелудочных заболеваний появились немедленно. Тяжелобольных, свыше 12 человек, пришлось на носилках отправить в больницу. Две комнаты, отведенные нам в тюремной больнице, были сплошь заселены. Пришлось установить очередь, и после голодовки свыше 35 товарищей перебивали в больнице. Один меньшевик заболел сыпным тифом. Только долго спустя мы получили известие из Москвы. На все обращения в ВЧК Уншлихт отвечал одно:

— Если хотят — пусть умирают.

V

«Выговор». Стрельба. Побег

Опять потянулись долгие суровые дни. На дворе солнце, лето, роскошная зелень садов и полей прельщает за решеткой окна. А мы после голодовки познали на опыте прелести строгого режима. Камеры закрыты, прогулка полчаса в день, небольшими группами. Походная кухня явно доживает свои последние дни, и однажды в 11-м часу вечера мы услышали прощальный стук уезжающей со двора двуколки. С продовольственными передачами становится все строже и теснее... Опять голод, недоедание, отсутствие денег. Вновь перешли в общую кухню, на баланду с червями и ложку пшенной каши.

Несмотря на собственную картошку, которая готовится дополнительно в больнице, приходится туго. Слежка и надзор усилены. Дежурный чекист и военный караул все больше дают себя чувствовать. Директор допекает всякими мелкими репрессиями.

Но в общем август, часть сентября прошли тихо, без перебоев. У всех после голодовки появилась острая потребность в этой тишине. Отдыхаем, залечиваем раны — кто в одиночке, а кто в больнице. Все остатки наших средств затрачиваем на жиры для пострадавших от голодовки. И, как это ни странно, сейчас после всего пережитого, режим и его суровость нас мало занимают. Одна мысль овладела всеми: здесь, в Орле, нам ничего не добиться. Надо отсюда бежать. В Москву! — мечтают привезенные из Москвы. В Харьков! — мечтают донбассовцы. И кой-кого уже берут в Москву или Харьков, в редких случаях — не без влияния проведенной голодовки: происходят освобождения... Оторванность от воли безгранична. Мы делаем попытку понять положение по коммунистической прессе; группами по десять человек мы обсуждаем какие-то вопросы, пишем протесты и заявления. Наконец, мы не выносим этой удушливой атмосферы и требуем от власти одного: перевода в Москву.

В это время у меня произошло столкновение с директором тюрьмы. Повод был случайный, но все обстоятельства характерны. Среди донбассовцев, переведенных к нам из концлагеря, было, помимо 27 с[оциал]-[демократов], десять беспартийных. Только один из них имел некогда отношение к политике; остальные совершенно случайно попали в категорию «политиков»; это были люмпены, принципиально чуждые нам люди. Естественно, что мы с ними не общались; на дворе они гуляли отдельно; личного знакомства с ними никто не вел. К голодовке из-за условий тюрьмы они не примкнули, а скоро мы узнали, что беспартийные добиваются каких-то тайных бесед

с Чекой и директором. До нас дошли слухи, что Поляков обещал похлопотать за них, и скоро мы получили сведения, что двое из них предложили свои услуги Губчеке по части внутреннего освещения в тюрьме.

Терпение наше было исчерпано. Мы объявили им бойкот, а затем мы были вынуждены поднять вопрос о выделении беспартийных из занимаемого нами крыла одиночного корпуса. По поручению всех фракций я обратился с заявлением к директору, в котором указал, что беспартийные, в сущности, не политики, что у нас с ними враждебные отношения, и мы просим во избежание всяких нежелательных осложнений переселить их в другое место. Нет сомнений, что в мае-июне наша просьба была бы немедленно удовлетворена. Другое дело сейчас. Директор вернул мое заявление с надписью: «Что за ерунда? В случае каких-либо осложнений виновные будут наказаны, согласно инструкции, вплоть до заключения в карцер». Конечно, я ему тотчас ответил резким письмом, где, между прочим, указал, что мы, политические узники, превосходно понимаем, какое удовольствие доставляет старым тюремщикам угрожать социалистам и анархистам заключением в карцер. Прошел день-другой, и в результате меня вызывают в контору и предъявляют книгу, в которой черным по белому написано, что директор централа, согласно параграфу инструкции, объявляет заключенному «строгий выговор» за неуместное заявление. Это было смешно, но прежде чем продолжать полемику с директором, я решил посоветоваться с товарищами. Хорошо, если после выговора последует карцер. Ну а если Саат причинит нам неприятности при передачах? Все коллективное продовольствие направляется на мое имя!.. Скрепя сердце, мы решили не обострять отношений. Но с тех пор окончательно были нарушены отношения с директором, пока новые обстоятельства не заставили позабыть этот инцидент со «строгим выговором».

Это случилось в результате стрельбы в наши окна. В общем мы привыкли к частой стрельбе по вечерам. Пули попадали в стены, и вряд ли солдаты метили в людей. Но произошли, по-видимому, какие-то изменения, и солдатам было приказано не стесняться в выборе мишени. Раз сентябрьским утром во время прогулки я был свидетелем такой сцены. Наша маленькая товарка стояла на табурете в своей одиночке и смотрела поодаль от решетки на двор. Мы делали круг и все время видели ее длинные белокурые волосы. Вдруг караульный солдат со двора заметил ее и выстрелил прямо в упор. Пуля пробила стекло и, пройдя над головой товарища, ударила в потолок. Тюрьма заволновалась, караульный смутился, и чекист составил протокол. Мы были склонны забыть про этот несчастный случай. Но стрельба оказалась не случайной, а входила в систему борьбы с нами. Об этом нам напомнил следующий случай.

Помню, дело было вечером. Скоро восемь часов. Уже прозвонил колокол. Камеры крепко заперты. Форточки открыты, как всегда во время проверки. Внизу уже началась поверка: обходят камеры нижнего этажа. Против моей камеры сидит меньшевичка. Мы высовываем головы через отверстие форточки, раскланиваемся, и, когда звонит колокол, нам кажется, что мы в поезде. Поезд трогается, мы кричим друг другу: до свидания. Она едет в Харьков, а я в Москву. Вдруг раздается выстрел. Дело привычное! Но сосед мой волнуется и кричит мне:

— Видите, напротив у Бархаша дым идет из камеры.

Неужели пуля туда попала? Неужели Бархаш ранен? В это время раздается стук изнутри из камеры Бархаша. Он как будто кричит:

— Откройте камеру! Я ранен!..

В мгновение ока вся тюрьма начала стучать в запертые двери. Это было как бы голосом инстинкта. Я стал тоже бить изо всех сил в свою дверь. Внизу суматоха, топот ног. Через форточку я вижу, как дежурный чекист

с револьвером в руках бежит по лестнице к нам навверх с испуганными глазами, а со всех сторон сбегаются солдаты с винтовками и надзиратели со связками ключей. Прошло, верно, всего несколько секунд. Я прихожу в себя, покрываю откуда-то взявшимся голосом стук, кричу товарищам:

— Перестаньте стучать!..

Кричу надзирателю:

— Павлик, открой сто тридцать девятую камеру!

По распоряжению чекиста моя камера открывается одновременно с камерой Бархаша. Он ранен в правую руку, в кисть. С помощью разорванной рубахи он крепко обвязал сожженное, израненное место и с искаженным от боли лицом бежит в больницу. Успокаивая товарищей, я бегу вслед за ним. Солдат с винтовкой по пятам следует за мной, не отставая ни на шаг. Конечно, в больнице нет ни врача, ни фельдшера. Бархаш не может сдержать крика от безумной боли, кусает до крови губы и, как ошалелый, бегаёт по больничному двору, поддерживая истекающую кровью руку. Я беспомощно бегаю за ним, а солдат с винтовкой не отстает от меня. Из-за решетки больничного окна нам подают воду. Раненый пьет, стуча зубами о стекло, и опять мы кружимся в беспомощности по больничному двору. Наконец, приходит фельдшер. Но он боится дотронуться до раны и накладывает на нее вату, пропитанную эфиром. Открывается уже запертая на ночь палата; туда вставляется новая койка, — все места еще заняты оправляющимися от голодовки, — и Бархаш со стоном ложится на койку. Директор в результате краткого разговора отправляется за доктором-хирургом.

Я вернулся в корпус и сообщил товарищам о положении. Кругом кучка чекистов и комендант. Они твердо решают прекратить «беспорядок» и посадить меня в камеру. Но им это не удалось. Мы пошли при свете коптелки осматривать камеру Бархаша. В ней пахло

еще порохом, дымом. Бархаш стоял недалеко от окна, повернувшись к нему спиной, и читал газету, подняв ее вверх. Караульный со двора увидел газету и руку, прицелился и выстрелил. Пуля, разбив стекло закрытого окна, попала в руку, прошла через газету и скрылась в стене, пробив в ней большую воронку.

Часам к 11 вечера явился из города хирург. Онковырял раненую руку, не нашел в ней никаких осколков, но все же не мог обещать, что рука будет действовать. Бедный Бархаш, прижавшись ко мне, переносил страдания с большой выдержкой и спокойствием...

Конечно, мы подняли шум по поводу стрельбы и повсюду разослали протесты. Л. Л. Бархаш не был меньшевиком; он примкнул к нашей фракции в тюрьме в качестве сочувствующего. Дело против него было затеяно в Туркестане, откуда он был привезен в Москву в ВЧК по обвинению в участии в антисоветском повстанчестве. После ранения мы по наивности рассчитывали, что его выпустят. Но, конечно, мы ошиблись. Именно в то время, когда Бархаш лежал в больнице, прибыло постановление ВЧК о высылке его в Архангельск, в Холмогорский (знаменитый избиениями) концентрационный лагерь на два года. Мы с большими усилиями задержали его на месяц в Орле, после чего он долго сидел в Таганской пересыльной тюрьме в сыпнотифозном очаге, и выжил ли он, отправлен ли на дальний север, я до сих пор ничего не знаю. А в центре усиленно говорили, что караульному солдату, ранившему его, была объявлена в приказе благодарность и пожалованы в награду часы. Солдат, мол, действовал правильно и только соблюдал инструкцию, которая требовала, чтобы караул стрелял в тех, кто сидит на окнах, трогает решетки и пр.

Но скоро мы были отомщены, отомщены за все: за неудачу, за голодовки, за издевательства, за стрельбу в заключенных. Накануне вечером внезапно взяли из тюрьмы всех донбассовцев. Мы провожали их, помога-

ли усаживаться в автомобили, видели обыск, при котором тщательно отыскивали и забирали столовые ножи. Начальник конвоя грозно сказал:

— Если кто попытается бежать или ослушаться приказаний, будет на месте застрелен...

Мы расцеловались, и они отбыли в Харьков. Эта ночь была темная, а наутро после поверки пробежавший мимо приятель из уголовных шепнул мне:

— Сегодня ваши бежали из больницы...

Да, побег оказался фактом. К нему заметно готовились давно. Недаром из корпуса в больницу и обратно все время летали записочки. Все это настолько бросалось в глаза, что за неделю до побега я счел нужным предупредить левого эсера Шебалина:

— Будьте осторожней. Мы уже заметили, что вы что-то замышляете. Как бы не пронюхали архангелы...

Шебалин категорически заверял меня, что ни о каком побеге не помышляют...

В ночь побега в палате остались, кроме левых эсеров и анархистов, только раненый Бархаш и один беспартийный донбассовец, случайно выпавший из списков отправляемых в Харьков. Беспартийному дали снотворного, и он крепко спал. Беглецы распилили решетку, отогнули почти наполовину железный прут в квадрате решетки и вылезли на больничный двор. Их было четыре левака и три анархиста — всего семь человек. Упорно говорили, что четвертый анархист, по прозвищу Сатана, никак не мог пролезть в отверстие из-за своей толщины. Беглецы прошли через пустую прачечную к тюремной стене и с помощью заранее приготовленной лестницы перескочили через нее, и — так их и видели! Это было в два часа ночи. Караул с башни на больничном дворе услышал шум и хотел сигнализировать, но сигнализация не действовала. Кругом была непроглядная, глухая ночь, и только перед утренней поверкой узнали о побеге.

Не знаю, что делали власти за стенами тюрьмы. У нас внутри тюрьмы они обнаружили полную беспомощность. У взломанной решетки поставили зачем-то часового с винтовкой. Старший надзиратель с сосредоточенным лицом обошел все камеры и всюду деревянным молотком испытывал крепость решеток. Были арестованы доктор, фельдшер, больничный надзиратель, служивший 35 лет в центральном, старший по одиночному корпусу. Но скоро их выпустили, а беглецов и след простыл. Спустя долгое время я узнал, что левый эсер И. А. Шебалин, несомненный вдохновитель побега, был арестован и в знак мести посажен в особенно тягостные условия — в пробковую одиночку в Петербурге. Но ему удалось опять бежать, и снова быть пойманным, и бежать в третий раз, и, наконец, скрыться от чекистов. При бегстве из окна вагона на ходу поезда Шебалин получил перелом руки, а при бегстве от конвоя ранение в голову.

После побега только усилился нажим со стороны тюремной администрации. Новый случай стрельбы в камеру анархиста Барона. Он и так был издерган — у него расстреляли недавно жену и брата по делу подпольных анархистов в Москве, — а тут пуля ударила в стену у самой койки, на которой лежал Барон. Ему только оставалось реагировать резким протестом, и он послал ядовитое письмо своему бывшему приятелю Полякову. На другой день ему было объявлено, что он лишен на десять дней прогулок и изолирован от всей фракции. Конечно, фракция анархистов вся отказалась гулять.

В эти дни был произведен повальный и тщательный обыск в центральном. Должен сознаться, что при всей тщательности моя коробка с зубным порошком, в двойном дне которой искусно были спрятаны всякие бумаги, не была замечена. Но во время обыска был ряд инцидентов. Левая эсерка отказалась дать себя обыскивать, а один меньшевик отказался снять сапоги, говоря: